

ЛИТЕРАТУРА XVII в.: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Е. К. РОМОДАНОВСКАЯ

Повесть-притча в контексте эстетических споров XVII в.

(О возможной интерпретации Повести о царе Аггее)

Древнерусские авторы редко писали о своих эстетических принципах. В отличие от живописи, основы которой теоретически определялись в первую очередь иконописными подлинниками, развитие литературы вплоть до XVII столетия шло «по образцам», по примеру уже существующих (в значительной мере переводных) произведений.¹ Теоретические труды как будто и не требовались. Так, по наблюдениям Т. В. Буланиной, появившийся еще в XI в. в составе Изборника 1073 г. перевод сочинения византийского грамматика Георгия Хировоска «О образех» в дальнейшем «не привлек внимания древнерусских и южнославянских писателей» и «в последующем литературном процессе славянского средневековья непосредственного участия <...> не принимал».² Поэтому об эстетике русской средневековой литературы мы судим по большей части на основании самих художественных творений. Высказывания авторов или читателей по поводу того или иного труда (за исключением этикетных самоуничижительных интенций авторов-агиографов) — вещь редкая и поистине драгоценная. Лишь в XVI в. появляются первые специальные филологические труды — имеются в виду прежде всего азбуковники, включавшие и статьи по стиховедению,³ а в начале XVII в. отмечены переводы теоретических трудов: можно назвать сочинение Автония, послужившее предисловием к басням Эзопа,⁴ и ранние рукописи риторики (так называемой «риторики Макария»)⁵ С появлением литературы барокко ее представители заговорили о литературной теории вслух и открыто.⁶ Их противники предпочитают традиционные подходы к этим вопросам, и если высказываются по ним, то «прикровенно», «по случаю», не всегда напрямую соотнося этот «случай» с истинными причинами, вызвавшими реплику. Такая система приводит нередко к тому, что в исто-

¹ Буланина Т. В. Риторика в Древней Руси. Сведения о теории красноречия в русской письменности XI—XVI веков. Автореф. дисс. канд. филол. наук. Л., 1985. С. 14.

² Там же. С. 13.

³ См. Ковтун Л. С. Термины стихосложения в русском азбуковнике // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 269—274.

⁴ См. Тарковский Р. Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л., 1975. С. 8.

⁵ См. Словарь книжников. Вып. 3, ч. 2. С. 317—321.

⁶ Так, Симеон Полоцкий высказывает свое отношение к творчеству как во вступлении к «Псалтыри рифмотворной» и «Вертограду многоцветному», так и многочисленных стихотворениях («Мир есть книга» и др.). См. Симеон Полоцкий. Избранные сочинения / Подгот. текста, статья и коммент. И. П. Еремина. М., Л., 1953. С. 205—217; Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973. С. 173—193.

рии общей эстетической системы Древней Руси им (традиционалистам) почти не уделяется места.⁷

Мне представляется возможным расширить наши знания о скрытых эстетических высказываниях на примере Повести о царе Аггее — одной из самых известных в русской литературе XVII в., получившей необычайное распространение в рукописной традиции вплоть до середины XIX в. Создавая свое творение на рубеже 1670—1680-х гг. в жанре повести-притчи, ее авторы использовали ряд приемов, позволяющих преобразовать международный нравоучительный сюжет о гордом царе в произведение, отвечающее на животрепещущие вопросы современности.

Важнейшим из этих приемов является внесение в текст Повести ряда мотивов, какие не встречаются в других известных обработках международного сюжета,⁸ в первую очередь — наказание священника за чтение «неправильного» текста Евангелия и трехгодичное испытание героя в виде служения его у нищих. Как мне уже приходилось писать, эти мотивы связаны с реальными событиями в жизни русского общества: конфликтом царя Алексея и патриарха Никона, завершившимся ссылкой опального иерарха, и попытками решить проблему массового нищенства, предпринятыми царем Федором Алексеевичем.⁹ Именно это способствовало возможности «прикровенной» критики государя: изменения политической обстановки, как правило, вызывали появление новых редакций памятника вплоть до середины XIX в.¹⁰

Не меньшее значение, по-видимому, имеет еще один эпизод, не соотносящийся с политическими мотивами и отсутствующий в структуре мирового сюжета: почти во всех редакциях Повести герой, как правило, не ограничивается неверием в текст Евангелия, но приказывает «выдрать лист» из него.¹¹ Исключение составляют лишь вторичные редакции «Аггея», по большей части поздние: редакция с Римскими Деяниями, редакция Паламошного (обе — нач. XIX в.) и две Книжные редакции, краткая и пространная (обе — XVIII в.). В первом случае текст был выправлен по Прикладу о гордом цесаре Иовениане, явившемуся одним из источников редакции; Книжная же редакция составлялась в образованных церковных кругах, в ней все тексты выверены по книжным источникам, и, возможно, эпизод с Евангелием исправлен по тому же Прикладу. Все же остальные редакции и тексты XVII столетия непременно говорят о вырывании листа из Евангелия.

Таким образом, несомненно, что этот эпизод существовал в Повести изначально и принадлежит ее создателям. В чем смысл его появления? Естественно, он усиливает степень кощунства царя, делая его не только «моральным» (мысленным), но и «физическим». Однако тип прегрешения от этого не меняется. Для чистого нравоучения вполне достаточно и простого неверия в текст Писания, о чем свидетельствуют многочисленные

⁷ В этой связи характерно, что в специальном издании «Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI—XVII века» (М., 1996) отдельные главы посвящены Симеону Полоцкому, Ю. Крижаничу, Н. Спафарию, Аввакум же упоминается лишь в общем обзоре «постсредневековых реминисценций».

⁸ См. характеристику международного сюжета: Varnhagen H. Ein indisches Märchen auf seiner Wanderung durch die asiatischen und europäischen Literaturen. Berlin, 1882; Dahlke M. Das Sujet vom stolzen Kaiser in den Ostslavischen Volks- und Kunstliteraturen. Amsterdam, 1973.

⁹ См.: Ромодановская Е. К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII—XIX веков. Новосибирск, 1985. С. 87—117.

¹⁰ Характеристики редакций и тексты см. там же.

¹¹ То же самое происходит и в Повести о Димитрии князе римском, для которой Повесть о царе Аггее послужила одним из источников. См. там же.

тексты на сходный сюжет. Учитывая же, что другие дополнительные мотивы, обогащающие сюжет, как уже говорилось, имеют четко выраженное общественное значение, можно думать, что и мотив вырывания листов из Евангелия важен для автора с каких-то идейных позиций.

Поскольку вырывание или, как в некоторых списках, «вымарывание слов» из Евангелия вполне может рассматриваться как его редактирование или, по древнерусской терминологии, «справа», то первая мысль, которая приходит в голову в этой связи, — не нашел ли отражения в Повести характерный для старообрядчества протест против никоновского исправления книг? На это предположение сразу надо ответить отрицательно, поскольку Повесть, как я в свое время постаралась доказать, появилась в прониконовских кругах, в значительной мере озабоченных защитой опального патриарха, а к ее созданию, скорее всего, были причастны справщики Печатного двора, именно подобной справой и занимавшиеся.¹²

Более верным представляется предположение о том, что этот эпизод связан с эстетическими спорами XVII в., и прежде всего отношением именно к Евангелию.

Евангелие занимает особое место в древнерусской книжности. Отношение к нему всегда было чрезвычайно уважительным, и на протяжении всего средневекового периода русской литературы мы не знаем ни одного случая, чтобы древнерусский автор свободно обращался с его текстом. Не только в проповеди, но и при специальных толкованиях Евангелие, как правило, только цитируется, но никогда не переделяется. Символом отношения к Евангелию может служить запись позднего писца, который в конце Повести об Аггее цитирует Повесть о бражнике, соглашаясь с тем, что нельзя изменить слово евангельское.¹³

Наиболее наглядно отношение к Евангелию видно при исследовании древнерусской притчи: даже создавая собственный вариант евангельского сюжета, пользуясь другими источниками (талмудическими, восточными), Кирилл Туровский настойчиво подчеркивает, что он — лишь передатчик слов Евангелия, и нигде не решается назвать себя автором текста.¹⁴ С точки зрения традиционалистов, притча не может создаваться как «своя мудрствования», а принадлежит только Писанию.¹⁵ Появившиеся в XVI в. авторские притчи (Ермолая-Еразма, И. С. Пересветова, Максима Грека) с сюжетами Евангелия никак не связаны.

Ситуация в корне меняется во второй половине XVII в. С развитием философии и поэтики барокко в русской литературе появляется идея равенства поэта Создателю.¹⁶ По-видимому, именно с нею связано более свободное отношение к текстам Евангелия. Характерно, что крупнейшему на Руси представителю барочной школы, Симеону Полоцкому, принадлежит и первый опыт переложения евангельской притчи для сцены — «Комедия притчи о блудном сыне». Он же переложил и другой текст

¹² Там же С 103—105, 128—131, 193—198

¹³ См Ромодановская Е К Повесть о царе Аггее в контексте рукописных сборников П Повесть о бражнике // Исследования по истории литературы и общественного сознания феодальной России Новосибирск, 1992 С 13—16

¹⁴ См Еремин И П Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ М, Л, 1956 Т 12 С 340—341

¹⁵ См подробнее Ромодановская Е К Древнерусская притча самоопределение жанра (в печати)

¹⁶ См Панченко А М Русская стихотворная культура XVII века С 173—184

Писания, считавшийся неприкосновенным, создав «Псалтырь рифмотворную».¹⁷

Вряд ли подобные произведения были приемлемы для традиционалистов. О «Псалтыри рифмотворной» достоверно известно, что она вызвала протесты как Евфимия Чудовского, так и самого патриарха Иоакима.¹⁸ Откликов на «Комидию притчу», как отрицательных, так и положительных, мы не знаем. Вместе с тем в 1685 г., уже после смерти Симеона, она была напечатана в виде отдельной книжицы с многочисленными иллюстрациями. По-видимому, она пользовалась не меньшим успехом, чем другие пьесы придворного театра на библейские сюжеты, которые продолжали идти на придворной сцене и в начале XVIII в. В этой обстановке выступить открыто против придворного писателя, близкого государю (а для Федора Алексеевича бывшего и воспитателем), было по меньшей мере неосторожно.

Тогда-то подспудное недовольство теми процессами, которые начинали брать верх в русской литературе, было выражено с помощью повести-притчи. В этом жанре, как в притче вообще, значима каждая деталь, и можно думать, что эпизод с вырыванием листов из Евангелия появился в Повести о царе Аггее далеко не случайно. С одной стороны, гордость царя обличается во всех возможных аспектах: он не верит в текст Писания, презирает нищих, что равносильно оскорблению самого Христа, «правит» Евангелие, чем приравнивает себя Богу, потому что Евангелие — это прежде всего слово Христа. С другой — эпизод с Евангелием отражает и реальное отношение неизвестных нам авторов к новомодным начинаниям чуждой им придворной культуры и школы барокко.

¹⁷ Отношение к другим — историческим — текстам Ветхого Завета было, скорее всего, более свободным помимо изначальных переработок их в Палее и Хронографах, в древнерусской литературе с XV в. были распространены разнообразные (не только апокрифы, но и беллетристические) повести о Соломоне, в 1630-е гг. появляется Повесть о царе Газие, в 1670-х гг. ряд книг использован для пьес придворного театра (Есфирь, Юдифь, Книга Товия младшего)

¹⁸ Еремин И. П. Симеон Полоцкий — поэт и драматург // Симеон Полоцкий Избр. соч. М., Л., 1953. С. 241